



В. В. РОЗАНОВ

Вл. Соловьёв и Достоевский (о философском содержании русской литературы)

Издание трудов покойного Соловьёва продолжается с энергией, достойной всякой похвалы. Во 2-м томе «Собрания сочинений» была помещена «Критика отвлечённых начал» — труд, наиболее систематичный и обильный ценными философскими взглядами. Лежащий перед нами третий том обнимает философско-религиозные труды покойного от 1877 года по 1884 год, т. е. самый блестящий период его деятельности, когда он сделался фигурой всероссийскою и всеобщелюбимою. Мне помнится, это время, когда молодёжь университетская (в Москве) сперва нерешительно уравнивала его с трудолюбивым и монументальным его отцом, а затем пыталась ставить сына и выше отца. В ту пору я был страстным патриотом и мысль, что у нас есть такие знаменитые отец и сын, как у немцев и англичан есть тоже знаменитые в науке и искусстве родственные диады, наполняла моё сердце восторгом и гордостью: «Боже, наконец, Россия имеет философа; разве может быть страна, цивилизация, литература без философов и философии!», — думал я в своих студенческих потёмках. И желание, чтобы Соловьёв поднялся выше, как можно выше, гораздо выше отца своего, человека основательного, но всё же обыкновенного, было во мне одним из самых знойных. К числу самых страстных юношеских мечтаний (чуть ли не довольно общих) принадлежало и это: что все ученые, даже такие знаменитости, как Либих или Гершель¹, всё же суть обыкновенные люди, «смертные», но только очень умные, даровитые, прилежные и счастливые в своей судьбе или карьере; с именем же «философ» соединялся какой-то неизъяснимый туман и восторг: слово «карьера» несказанно оскорбило бы это понятие, ибо философ, казалось, не идет, а «грядёт», и всё в нём и около него таин-

ственно, высоко, «божественно». Поэтому, когда я впервые стал читать «Критику отвлечённых начал», как меня ни увлекали наложение и острота взглядов покойного, я всё был недоволен, что он занимается чужими философиями. Когда же, когда он начнёт сам философствовать! И освещать мир!! И излагать себя!!! Читатель да простит изложение этих юношеских ожиданий от философии, ибо, кто знает, может быть, сейчас ровно такие же мысли бродят в юных студенческих головах. Для последних замечу, что философия сошла к нам незримою и неслышимую гостьей, и уже давно у нас сидела, когда все её ждали. Это — наша благородная литература. Нисколько не обязательно для философии быть выраженной в томах умозрения, разделённого на отделы, подотделы, главы и параграфы, непременно с «введением» и «заключением». Платон писал драматические диалоги — и философия была там. Но раньше Платона писали только философские стихи, «поэмы», очень коротенькие — и философия тоже в них была уже. Можно составить бессмертное имя в философии сказав всего один или несколько афоризмов: таков был Эмпедокл и Гераклит. Философия есть просто царство мысли, мышления, и она может не только родиться, но и подняться довольно высоко, вовсе даже без книгопечатания. Том, глава, параграф, «введение» и «заключение» суть просто формы немецкой философии, а не вообще философия. И вот с этой точки зрения русская литература в её целом и в выдающихся её точках, есть одна из самых великих мировых философий, ибо она носит все черты мышления, идущего необыкновенно глубоко, касающегося всех вещей мира (как и надлежит философии), и притом мыслей, по основательности и критичности своей не уступающих во всяком случае Шеллингу, Гегелю или Шопенгауэру. Когда я это пишу, я имею конкретно в виду «Обрыв» Гончарова, именно 2-й его том, со всеми беседами Райского об искусстве и жизни, стихи Тютчева и недавно случайно мною перечитанный рассказ Толстого: «Много ли человеку земли нужно». Впечатление от чтения последнего до того меня взволновало, что я не мог удержаться, чтобы не сказать в себе, что ничего равного в религиозной сфере русский ум не сотворил. Если взять его в сродстве с другими драгоценными камнями того же творца, и, наконец, рассмотреть самого этого творца в сонме других, вовсе на него не похожих, оригинальных, новых, самобытных — мы, конечно, получим зрелище великой философской толпы, удивительного царства мысли, где земное

и небесное, идеальное и реальное, теоретическое и достоверное, освещение прошлого и надежды в грядущем соединены в редко виданную в истории картину. Особенно, однако, трогательно, что блёстки «философии», подлинной и живой, лежат не только на этих великих умах, а они виднеются и на самых скромных, иногда безымянных тружениках. Вот недавно на всемирном съезде здесь криминалистов было сказано, что русские внесли в предмет этих учёных ту новизну, что стали рассматривать не преступление, а преступника. Может быть, в словах этих была только любезность говорившего гостя (иностранца) к хозяевам. Но слова эти напомнили мне целый ряд то книг, то журнальных и, наконец, газетных статей, именно неподписанных, или подписанных вовсе неизвестными именами, т. е. статей, казалось бы, ремесленных, содержащих очерк «преступника» и систему мыслей о нём в такой полноте, какая, право, стоит работы римских древних юристов. В русской литературе человек до того вытащен на свет Божий, распотрошён и рассмотрен, что, право — точно это «страшный суд» совершается. Но, удивительно, — это совершенно без осуждения, без горечи, без всякой гадости мщения. Литература русская есть в этом отношении не только великое, но и святое явление. Если, конечно, «святость» определять как движение сердца, а не что-то восковое и недвижимое.

Таким образом, Вл. Соловьёв вошёл как философ средних размеров в толпу огромных уже ранее его бывших и частью ему современных философов. Одна из прекрасных особенностей его характера и биографии заключается в том, что он чрезвычайно льнул к литературе, даже непосредственнее — к журналистике. И вместо того, чтобы писать томы с «введением» и «заключением», писал стихи, статьи, критику, полемизировал, в полемике иногда перевирал и несправедливо язвил и, словом, всё сделал, чтобы стать добрым русским литератором, отложив в сторону немецкий колпак и фартук. Это показывает его истинным философом; как у учёных, занимающих кафедры философии в наших университетах и духовных академиях, их «перст указательный» и «все признаки учения» обнаруживают именно как «мальчиков на посылках» — кого у Гегеля, кого — у Шопенгауэра, но большею частью как «рассыльных на перекрёстке», которых берёт всяк философствующий иностранец и посылает куда нужно. Так, покойного Козлова² совершенно замучил какой-то немец Трейхмюллер³ (не слышали?) и он так и умер, чего-то «недоизложив»

на русском языке из этого жиловатого немца, которому и конца не было.

* * *

<...>

* * *

С Достоевским у Соловьёва были тесные отношения, как биографические, так и идейные. Вместе они ездили в 1880 году в Оптину пустынь, чтобы видеть и говорить с знаменитым её старцем о. Амвросием, который представлял в своё время великое и исключительное явление духа и труда. Здесь же оба они виделись с К. Н. Леонтьевым, медиком-публицистом-монахом-эстетом. Эти четыре лица, собранные на одной точке, в одной беседе, могли представить собою «тяги земли русской», как говорится в былинах. Отец Амвросий⁴, посаженный старцем, т. е. советником, руководителем, в знаменитом и настоящем монастыре, — без борьбы и протестов, без противоречия и споров совершенно преобразовал смысл монастыря, монашества и вообще, духовного лица. В бедном подряснике, среди соснового леса, в тесной избёнке, он принимал у себя удручённых духом, угнетённых жизнью людей; и не заводил их в тупичок единственного совета: «Потерпите, Бог терпение любит», а проницательным оком входил во всё разнообразие практических и духовных нужд, и давал советы то духовные, а очень часто и практические, даже хозяйственные, экономические (мне известны случаи именно таких советов). Он был лекарем-знахарем душ и быта, без всяких притязаний на духовную власть, на духовный авторитет; без красноречивых проповедей, без всякого даже официального в себе значения, и не представляя собственно в иерархии духовной ровно ничего, никакой сколько-нибудь значащей единицы. Романист, философ и публицист с равным любопытством и надеждами смотрели на знаменитого «старца», — и, вспомним, в какой критический момент нашего духовного развития произошло это свидание. Вещи, иногда на первый взгляд совершенно простые, открывают пристальному размышлению чрезвычайную в себе сложность. Что такое был старец Амвросий, — по биографии преподаватель семинарии, в молодости оставивший службу и ушедший в знаменитую пустынь? По смерти его в духовных журналах было напечатано множество его частных писем, по краткости — скорее записочек, и собраны были его присловья, любимые выражения, почти как Даль собирал «По-

словицы русского народа». В них замечателен шутливый тон, следы или начатки неразвившейся иронии, тон везде весёлый, обильный любовью к людям и жизни их. Что-то старенькое-старенькое и мудрое-мудрое есть в нём. И совершенно отсутствует столь знакомый нам и столь постоянный в духовной литературе тон учительства, морализирования; отсутствуют и ссылки на какие-нибудь древние авторитеты. Он весь русский, этот отец Амвросий. Читая его присловья, вспоминаешь Даля и его словари, а, припоминая множество рассказов, о нём ходивших, невольно как-то возводишь их как к прототипу, не к фигурам знаменитых греческих отцов, еще менее — к фигурам ветхозаветных гремящих пророков, а к столь знакомой нам, русским, фигуре вещего и древнего старца, предсказавшего Олегу его смерть. Оба надышались лесами, насмотрелись звёзд — и взяли оттуда свою мудрость и своё сердце. Гёте, вырасти он в другом месте и в другую эпоху, например, до книгопечатания, мог бы всё же продумать всего своего Фауста, только не так определённо; он мог бы быть пантеистом без знания этого слова. Классификации и группировки приходят на ум поздно. Люди растут и действуют сперва без группировки и даже без имён. Слово «пантеист» испугало бы о. Амвросия; этого имени не подписано и под литературным портретом о. Зосимы, т. е. имя не приходило в голову самому Достоевскому. Между тем, если мы спросим, чем Зосима отделяется, отграничивается от обыденной, окружающей его толпы, в таких же чёрных рясах, всё то же знающих, что знает и он, то ответим, что духовный взор Зосимы теснее, роднее слит с природою, с людьми, наконец — прямо со звёздами, нежели их духовный взор, более книжный, может быть, более учёный и менее природный. Руссо может явиться ведь и не в экзальтированном виде, не ломанным существом, а эпически спокойным; как и Гёте может написаться с маленькой буквы и не уметь выговорить ни одного стиха. Я хочу этим сказать, что знаменитое философское понятие: «пантеизм», «пантеист» есть рубрика нашего ума, выражающая древний и вместе вечный факт, факт очень распространённый, а имя Гёте по величию и яркости его фигуры можно обратить в нарицательное, почти как Обломов. Понимание мыслью

И дольней лозы прозябанье,
и гад морских подземный ход...⁵

как и призыв Руссо к первоначальному невинному состоянию, к безыскусственности отношений, к братству всемирному может безграмотно и беспаспортно, но прелестно и гармонично вырасти в друга лесов, друга человеков, например, как Амвросий. Подставим на место князя грядущий к нему народ, и мы, почти без перемен, можем почитать о нём стихи Пушкина

Из тёмного леса навстречу ему
идёт вдохновенный кудесник,
покорный Перуну старик одному.
Заветов грядущего вестник
в мольбах и гаданьях прошедший весь век...⁶

Здесь только неверны имена, не тот паспорт: а человек — один, а дух — тот же. Замечательно, что когда Достоевский ещё расширил эту эмпирическую фигуру своим воображением и начертал образ старца Зосимы, то уже вышел полный и яркий пантеист: «Птичек любите, каждый листочек на дереве любите: всему поклоняйтесь, всё лобзайте». Смесь любви, но природной, с поклонением, но природе — очевидно в знаменитом «старце» знаменитого романа. Леонтьев, обращение которого к религии совершилось на Афоне, забил тревогу, и в блестящей и сумрачной брошюре: «Наши новые христиане гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский», объявил, что эти два писателя вводят «новое христианство», «розовое» (оба термина Леонтьева), наместо действительного, исторического, которое представляет если и сокровенную «розу», то небесную, открывающуюся на том свете, после смерти, тогда как здесь, на земле, лежит для христианина путь терниев, путь шипов, колючек, испытания, боли. «Терпите, лучшего, чем сейчас, на земле никогда не будет, да и не нужно»⁷, — писал он. Достоевский в «Записной книжке», посмертно напечатанной, назвал учение Леонтьева «богохульством и цинизмом», и мне известны глубокого ума люди, которые называли Леонтьева «чудовищем атеизма». Что он неприятен и колюч — об этом нет спора. Но что опровергнуть его очень трудно, об этом тоже спорить не приходится. В III-м томе соч. Соловьёва помещена «Заметка в защиту Достоевского от обвинения в новом христианстве», направленная против Леонтьева, но, в сущности, почти соглашающаяся с ним. Вообще, обругать Леонтьева очень легко, но преодолеть трудно. Соловьёв знал силу Леонтьева и преодолевал её более сердцем, порывом,

чем мыслью. Так и в настоящей «Заметке» он опирается более на Апокалипсис, на «грядущее», тогда как Леонтьев стоял на пользе факта и трёх синоптических евангелий, где сказано и указано, что «будут скорби» после смерти Христа, и что «восстанет народ на народ и брат на брата». Леонтьев, посмеиваясь над «розовым христианством» двух великих романистов, называл его подлогом, и выдвигал тёмные, почти чёрные тени прошлого, называя их вечными, да и прямо призывая их. Он очень точно определил и назвал «всемирную гармонию», которую предрекал Достоевский, и звал к ней людей, — просто возобновлением мысли Руссо, несколько не оригинальным и, с его, Леонтьевской, точки зрения, крайне скучным и преступным. «В строгих монастырях, на Афоне и в Оптиной, за такие речи, какие Ф. М. вложил старцу Зосиме, виновного определили бы на послушание (наказание монастырское) и во всяком случае наложили бы на него обет молчания». Не только постриженный в монахи, но и проживавший уже давно в монастыре, Леонтьев, конечно, лучше знал подлинное фактическое христианство, в отличие от мечтательного и «пророчесственного», с каким выступали, от имени которого твёрдо и нервно говорили Достоевский и Соловьёв.

1902

